

Мартин Бубер

Диалог

Перевод М.И.Левиной.

Источник текста: Сборник: Бубер М. Два образа веры. М.: Республика, 1995

Оглавление

ОПИСАНИЕ.....	2
Изначальное воспоминание.....	2
Сообщающееся молчание	3
Мнения и фактическое.....	3
Беседы о религии	4
Постановка вопроса	5
Наблюдение, созерцание, проникновение	6
Знаки.....	7
Обращение.....	8
Кто говорит?.....	9
Наверху и внизу	10
Ответственность.....	10
Мораль и религия.....	11
ОГРАНИЧЕНИЕ.....	11
Сферы	11
Основные движения	13
Бессловесная глубина	14
О мышлении.....	15
Эрос.....	16
Общность.....	17
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	19
Беседа с противником.....	19
СНОСКИ.....	22

Der Abgrund und das Weltenlicht,
Zeitnot und Ewigkeitsbegier,
Vision,
Ereignis und Gedicht:
Zwiesprache wars und ists mit dir[1]

ОПИСАНИЕ

Изначальное воспоминание

Иногда после перерыва в несколько лет ко мне возвращается одно и то же сновидение с различными изменениями. Я называю его сновидением двойного зова. В нем меня всегда окружает малооснащенный "примитивный" мир: я нахожусь в большой пещере, похожей на каменоломню в Сиракузах, или в глиняной постройке, которая по пробуждении напоминает мне деревни феллахов, или на опушке огромного леса - не помню, чтобы когда-нибудь видел такой. Сновидение начинается по-разному, но всегда с того, что со мной происходит нечто необычайное, например будто маленькое, похожее на львенка животное, название которого я во сне знаю, но, проснувшись, не помню, грызет мою руку, и я лишь с трудом справляюсь с ним. Странное в этом сновидении то, что первая и самая важная как по продолжительности, так и по значению событий его часть всегда проносится в бешеном темпе, будто дело совсем не в ней. Затем действие внезапно замедляется: я стою и зову. По моему впечатлению, уже наяву мой зов должен бы в зависимости от того, что ему предшествовало, быть в одном случае радостным, в другом испуганным, а иногда скорбным и торжествующим одновременно. Но утром моя память не воспроизводит его окрашенным каким-либо чувством и богатым оттенками; каждый раз это один и тот же зов, не артикулированный, не строгий ритмически, возникающий с перерывами и нарастающий до такой полноты, которую мое горло не выдержало бы наяву, зов длительный и протяжный, очень медленный и очень протяжный, зов-песня - когда он замирает, у меня останавливается сердце. Но тогда где-то вдали раздается другой такой же зов ко мне, другой и такой же, такой же изданный или пропетый другим голосом и все-таки не такой же, нет, совсем не "эхо" моего зова, скорее ответный зов, это не те же звуки, ослабленные или повторяющие мои, - они настолько соответствуют моим, отвечают им, что мой зов, совсем не казавшийся мне раньше вопрошающим, показался мне длинным рядом вопросов, получившим теперь ответ - необъяснимый ответ, как и сам вопрос. И все-таки звучание ответов на мой всегда одинаковый зов не было одним и тем же. Голос был каждый раз другим. Но как только ответ замолчал, в то мгновение, когда его звук замирал, во мне возникала уверенность, подлинная уверенность сновидения: свершилось. Больше ничего. Только это, именно так. Теперь это свершилось. Если бы я попытался объяснить, это значило бы, что событие, вызванное моим зовом, только теперь, после ответа, действительно и несомненно произошло.

Так сновидение каждый раз повторялось - до того последнего раза, два года тому назад. Сначала все было как обычно (сон о животном), мой зов отзвучал, сердце у меня опять остановилось. Но тогда наступила тишина. Ответа не было. Я прислушивался, но не услышал ни звука. Я впервые ждал ответа^ который обычно так удивлял меня, будто я никогда раньше его не слышал, но ожидаемый ответ не прозвучал. И вдруг со мной что-то произошло: будто до сих пор мир доходил до меня только через слух, теперь же я ощутил себя существом, обладающим чувствами, действующими через органы и непосредственно, открылся восприятию и ощущению, открылся дали. И тогда не из нее, а из воздуха близ меня беззвучно пришел ответ. Собственно, он не пришел, он был там. Он был там - могу, поясняя, сказать - уже до моего зова, был вообще там, и теперь, когда я ему открылся, позволил мне воспринять его. Я воспринял его с такой же

полнотой, как звучащий ответ в моих прошлых снах. Если бы мне потребовалось сказать, чем же я его воспринял, я бы сказал: всеми порами моего тела. Он так же соответствовал, так же шел навстречу мне, как ответное звучание в любом из моих прежних снов. Он даже превосходил его неведомым, трудно определимым совершенством - именно тем, что он уже всегда был.

Перестав его воспринимать, я вновь, более чем когда-либо, ощутил звучащую, как колокольчики, уверенность: свершилось.

Сообщающееся молчание

Как самое горячее словесное общение еще не составляет разговор (яснее всего это проявляется в странном спорте мыслящих людей, метко называемом дискуссией, способностью разбивать друг друга), так для разговора не нужен звук, не нужен даже жест. Язык может быть лишен всех чувственных знаков и оставаться языком.

Конечно, я имею в виду не нежное проникновенное молчание влюбленных - им для выражения своих чувств и взаимного понимания достаточно общности, преисполненного близости устремления взоров вдаль. Но я имею в виду и не совместное мистическое молчание, которому, как говорят, предавались францисканский монах Эгидий и Людовик Французский (или почти так же два хасидских раввина); во время однократной встречи они не произнесли ни слова, но, "пребывая в отражении божественного лика", узнали друг друга; ведь и здесь еще может быть что-либо выражено жестом, поворотом тела одного к другому.

Поясню, что я имею в виду, на примере.

Представьте себе двух людей, сидящих рядом в одиночестве мира. Они не говорят друг с другом, не смотрят друг на друга, даже не поворачиваются друг к другу. Они не близки, каждый из них ничего не знает о жизни другого, сегодня ранним утром они встретились на своем пути. Они не думают в этот момент друг о друге; нам незачем знать, о чем они думают. Один спокойно сидит на занимаемой ими скамье в позе, вероятно, ему привычной, открытй всему, что может произойти; весь его облик как будто говорит: быть готовым недостаточно, надо действительно быть здесь. Другой - его манера держаться не выдает его - сдержанный, сдержанный человек; но тому, кто его знает, известно, что на нем с детских лет лежит залятье, что его сдержанность нечто большее, чем манера поведения, за нею скрывается непроницаемая неспособность к общению. И вот - предположим, что это час, когда могут быть сломлены семь железных оков, сжимающих наши сердца, - залятье неожиданно снимается. Но и теперь этот человек не произносит ни слова, не шевелит ни одним пальцем. И все-таки он что-то делает. Освобождение произошло без его участия, пришло неизвестно откуда, но теперь он совершает нечто, он устраняет свою сдержанность, над которой властен лишь он. Свободно течет из него сообщение, и молчание несет это сообщение другому, кому оно и было предназначено, и тот открыто принимает его, как всякую судьбу, которая его ждет. Никому, даже самому себе, не сможет он сказать, что он узнал. Да и что знает он о другом? Знание и не нужно. Ибо там, где между людьми установилась открытость, пусть даже не в словах, прозвучало священное слово диалога.

Мнения и фактическое

Диалог между людьми, хотя он обычно находит свое выражение в звуке и слове (буквы относятся сюда лишь в особых случаях, например, когда друзья передают друг другу в каком-либо собрании записки, описывающие их настроения), может, следовательно, вестись и без знаков, правда, не в объективно постигаемой форме. К его сущности относится как будто еще некий внутренний элемент общения. В свои высшие моменты диалог выходит и за эти границы. Он совершается вне сообщаемого или доступного сообщению содержания, даже самого личного по своему характеру, и все-таки не в виде "мистического", а в полном смысле фактического, пребывающего в общем мире людей и в конкретной временной последовательности события.

Можно предположить, что это относится к особой области, к эротике. Однако именно этого здесь я для объяснения моей мысли касаться не буду. Ибо Эрос в действительности еще удивительнее, чем изображает его в генеалогическом мифе Платон*, а эротическое отнюдь не является, как легко можно было бы предположить, концентрацией и развитием диалога. Более того, я не знаю ни одной области, где бы так, как здесь (к этому я еще вернусь), диалогическое и монологическое смешивались друг с другом и одновременно противоборствовали бы друг с другом. Многие прославленные восторги любви есть не что иное, как наслаждение от неожиданной полноты актуализированных возможностей своей собственной персоны.

Скорее бы я подумал о незаметном, но значительном уголке существования, о взглядах, вспыхивающих между незнакомыми людьми, ровным шагом идущими мимо друг друга в уличной толпе. Некоторые из этих взглядов, мелькая без определенной направленности, открывают друг другу две предрасположенные к диалогу натуры.

Но действительно показать то, что я имею в виду, я могу только на примере событий, которые завершаются превращением коммуникации в общение, следовательно, воплощением диалогического слова.

Передать читателю в понятиях, о чем здесь идет речь, невозможно. Но показать на примерах можно, только не надо бояться брать их из глубинных пластов личной жизни, когда речь идет о важном. Да и где еще нам их найти?

Моя дружба с одним ныне уже умершим человеком возникла при обстоятельствах, которые можно, если угодно, назвать прерванным разговором. Дата его - весна 1914 г. Несколько человек, принадлежащих к различным народам Европы, собрались в неопределенном предчувствии катастрофы, чтобы попытаться создать наднациональную авторитетную инстанцию. Переговоры происходили в атмосфере откровенности, субстанциальная плодотворность которой превосходила все, что я когда-либо ощущал: она оказывала на всех участников собеседования такое воздействие, что все фиктивное устранилось и каждое слово становилось фактом. Когда мы приступили к вопросу о круге людей, от которых должна была исходить общественная инициатива (было принято решение собрать их в августе того же года), один из присутствующих, обращавший на себя внимание выражением страстной концентрации и строгой силой любви, высказал сомнение в целесообразности того, что названо слишком много евреев, вследствие чего ряд стран будет непропорционально своему населению представлен живущими в них евреями. Хотя и мне были не чужды подобные соображения, так как я полагаю, что еврейство может сыграть действительно плодотворную роль в построении прочного мира только в своей общности, а не в виде разрозненных частей, тем не менее высказанное мнение в такой форме показалось мне несостоятельным. И в качестве убежденного еврея, каким я являюсь, я это опротестовал.

Не помню уже, почему я заговорил об Иисусе и о том, что мы, евреи, понимаем его внутренне во всех побуждениях и движениях его еврейской сущности, остающихся недоступными всем исповедующим христианство народам. "Понимаем так, как это недоступно Вам", - обратился я непосредственно к выступавшему ранее священнику. Он встал, я также стоял, мы посмотрели в глаза друг другу. "Забыто", - сказал он, и мы братски обнялись в присутствии всех.

Выяснение отношений между евреями и христианами превратилось в союз между христианином и евреем, и в этом превращении свершился диалог. Мнения исчезли, во плоти произошло фактическое.

Беседы о религии

Здесь можно ждать два возражения, одно веское и одно сильное.

Мне можно возразить: там, где речь идет о существенных, "мировоззренческих" взглядах, разговор нельзя обрывать таким образом; каждый из его участников должен полностью проявить себя в своей неизбежной для человека односторонности и именно

вследствие этого реально понять, что он ограничен другим участником: тогда оба они ощутят судьбу нашей обусловленности и встретятся в ней.

На это я отвечаю: опыт ограниченности заключен в том, на что я указываю, но в нем заключено и возможное ее преодоление, которое, правда, может быть осуществлено не на "мировоззренческой" почве, а на почве действительности. Ни один из спорящих не должен отказываться от своих убеждений, но, непреднамеренно совершая что-то, они приходят к чему-то, называемому союзом, вступают в царство, где закон убеждений не имеет силы. Они тоже испытывают судьбу нашей обусловленности, но они чтят ее превыше всего, когда на бессмертное мгновение освобождаются, как нам дозволено, от нее. Они встречались еще до того, как каждый из них обратился в душе к другому, и с этого момента, представляя себе другого, воистину говорил с ним и ему.

Другое, совершенно отличное, даже противоположное возражение гласит: даже если это возможно в границах воззрений, в области вероисповеданий это неприменимо. Для двух людей различных вероисповеданий, ведущих спор о своих верованиях, речь идет об исполнении воли Божией, а не о поверхностном личном согласии. Для того, кто готов умереть за свою веру, готов убить за нее, не может быть царства, где закон веры уже не имеет силы. Такой человек стремится способствовать победе истины и не позволяет чувствам дурманить себя. Другой, т. е. придерживающийся ложной веры, должен быть обращен или по крайней мере наставлен, непосредственное соприкосновение с ним возможно лишь вне вопросов веры, а не исходя из них. Тезис религиозного собеседования нельзя "утопить".

На этот упрек, сила которого в том, что он игнорирует господствующую как нечто само собой разумеющееся необязательность релятивированного духа, я могу ответить лишь признанием.

Я не могу осуждать Лютера, отказавшегося в Марбурге поддержать Цвингли*, а также Кальвина, виновного в смерти Сервета*, ибо Лютер и Кальвин верят, что слово Божие настолько проникло в души людей, что они способны познать его однозначно, и толкование его должно быть единственным. Я же в это не верю, для меня слово Божие подобно падающей звезде, о пламени которой будет свидетельствовать метеорит; вспышки я не увижу, я могу говорить только о свете, но, я не могу достать камень и сказать: вот он. Но это различие в вере не следует считать только субъективным, оно основано не на том, что мы, живущие сегодня, недостаточно стойки в своей вере; различие останется, как бы ни окрепла наша вера. Изменилась сама ситуация в мире в самом строгом смысле слова, точнее, изменилось отношение между Богом и человеком. И сущность этого изменения не может быть постигнута, если мыслить лишь о столь привычном нам затмении высшего света, о ночи нашего лишеного откровения существования. Это - ночь ожидания, не смутной надежды, а ожидания. Мы ждем Богоявления, и нам известно только место, где оно произойдет, и это место именуется общностью.

В официальных катакомбах этого ожидания нет однозначно познаваемого и представляемого слова Божия - переданные нам слова объясняют себя нам в нашем человеческом обращении друг к другу. Послушание грядущему невозможно без верности его творению. Знание этого есть наш путь, не "продвижение", но путь. Начинается время подлинных религиозных разговоров - не мнимых религиозных разговоров, когда никто, в сущности, не видит своего собеседника и не обращается к нему, а время подлинного диалога убежденности с убежденностью, открытой личности с открытой личностью. Лишь тогда проявится подлинная общность, не общность содержания веры, якобы найденного во всех религиях, а общность ситуации, страха и ожидания.

Постановка вопроса

Диалог не ограничивается общением людей друг с другом, он, как мы видели, есть отношение людей друг к другу, выражающееся в их общении. Отсюда следует, что, даже если можно обойтись без слов, без сообщения, одно должно в любом случае необходимо присутствовать в диалоге - взаимная направленность внутреннего действия. Два участвующих в

диалоге человека, очевидно, должны быть обращены друг к другу, должны быть - все равно с какой мерой активности или сознания активности - обращены друг к другу.

Полезно представлять это себе в такой резкой формулировке. Ибо за формулирующим вопросом о границах изучаемой категории скрывается вопрос, взрывающий все формулы.

Наблюдение, созерцание, проникновение

Надо различать три способа, посредством которых мы можем воспринимать человека, жизнь которого проходит на наших глазах (я не имею в виду объект науки, о науке я здесь не говорю). При этом объект нашего восприятия может ничего не знать о нас и о нашем присутствии; имеет ли он какое-нибудь отношение к нашему восприятию, относится ли как-то к нему, здесь безразлично.

Наблюдающий стремится всеми силами внутренне запечатлеть наблюдаемого, "отметить" его. Он наблюдает за ним и рисует его. При этом он стремится зарисовать по возможности больше его черт. Он выслеживает эти черты, стараясь ничего не упустить. Предмет наблюдения состоит из черт, и за каждой из них, как известно, что-то скрывается. Знание системы человеческого выражения мгновенно усваивает вновь появляющиеся индивидуальные вариации, оставаясь по-прежнему применимым. Лицо - не что иное, как физиономия; движения - просто жесты выражения.

Созерцающий вообще не испытывает напряжения. Он принимает позу, в которой может видеть предмет, и спокойно ждет, что ему дано будет увидеть. Только вначале у него есть какое-то намерение, все дальнейшее происходит непроизвольно. Он ничего не отмечает, дает себе полную свободу, совсем не боится что-либо забыть ("Забывать хорошо", - говорит он). Он не ставит задачи своей памяти, а доверяется ее органической деятельности, сохраняющей все достойное сохранения. Он не увозит, подобно наблюдателю, траву как зеленый корм, а поворачивает ее из стороны в сторону, чтобы на нее падали солнечные лучи. За поездами он не следит ("Поезда, - говорит он, - везут в неверном направлении"). В созерцаемом предмете ему важны не "хара-ктер" и не "выражение" ("Интересное, - говорит он, - не важно"). Все великие художники были созерцателями.

Но существует и восприятие совершенно иного рода.

Созерцателю и наблюдателю обще то, что у того и другого есть установка, а именно желание воспринять находящегося перед их глазами человека; чтобы он был предметом, отделенным от них и их личной жизни, который именно поэтому и может быть "правильно" воспринят; чтобы таким образом познаваемое ими, будь то, как у наблюдателя, сумма черт или, как у созерцателя, существование, не требовало от них действий и не было для них судьбоносным; чтобы все происходило в отдаленнейших сферах эстезии*.

Иное дело, когда в открытой для восприятия час моей личной жизни я встречаю человека, в котором мне что-то, что объективно я даже не могу постигнуть, "говорит". Не говорит мне, каков этот человек, что с ним происходит и тому подобное. Но говорит что-то мне, взывает как-то ко мне, входит сказанным в мою жизнь. Это может быть что-то, связанное с данным человеком, например, что я ему нужен. Но может быть и нечто обо мне. Сам этот человек в его отношении ко мне никак не связан со сказанным, он не имеет отношения ко мне. Он меня, пожалуй, даже не заметил. Говорит не он, подобно тому как тот одинокий человек без слов сказал сидящему рядом с ним на скамье о своей тайне: говорится оно. Тот, кто понимает слово "говорит" как метафору, не понимает меня. Фраза "это мне ничего не говорит" - метафорическое выражение; но то, что здесь имею в виду я, - действительно язык. В доме языка много помещений*, и это одно из внутренних.

Восприятие того, что сказано таким образом, действует совсем иначе, чем наблюдение или созерцание. Человека, посредством которого мне было что-то сказано, я не могу нарисовать, не могу его описать, и если бы я сделал такую попытку, со сказанным было бы покончено. Этот человек не предмет моего внимания, я оказался как-то связан с ним. Быть может, я должен оказать на него какое-то воздействие, а быть может, только научиться чему-

нибудь, и все дело только в том, чтобы я это "принял". Может быть, мне надо ответить сразу именно этому человеку, здесь; но, может быть, сказанному предстоит длинный многообразный путь передачи и ответить на него мне придется где-то, когда-то и кому-то - кто знает на каком языке, а теперь все дело только в том, что я беру на себя необходимость ответить. Несомненно только, что ко мне было обращено слово, требующее ответа.

Назовем такое восприятие проникновением (Innewerden).

Предметом такого проникновения не обязательно должен служить человек, им может быть животное, растение, камень: ни одно явление, ни одно событие не исключено из этого ряда, в котором мне что-то говорится. Ничто не может отказаться служить сосудом такого слова. Границы возможности диалога - это границы проникновения.

Знаки

Каждый из нас облачен панцирем, задача которого отторгать знаки. Знаки направлены на нас непрерывно, жить - значит быть тем, к кому обращаются, надо лишь принять, лишь услышать это обращение. Но риск представляется нам слишком большим, нам кажется, что такой беззвучный гром грозит уничтожением, и мы от поколения к поколению совершенствуем наш защитный аппарат. Наша наука заверяет нас: "Будь спокоен, все происходит так, как должно происходить, на тебя ничего не направлено, тебя не имеют в виду, это - мир. Ты можешь воспринимать его как хочешь, но что бы ты ни предпринял, это исходит только от тебя, от тебя ничего не требуют, к тебе не обращаются, все тихо".

Каждый из нас заключен в панцирь, который мы, привыкнув, вскоре перестаем ощущать. Бывают лишь мгновения, когда сквозь него можно проникнуть и возбудить душу к восприимчивости. И если подобное с нами случилось, если мы насторожились и задаем себе вопрос: "Что же особенного произошло? Разве это иное, не то, что случается ежедневно?" - то мы можем ответить: "Действительно, ничего особенного, это происходит ежедневно, только мы не всегда здесь".

Знаки того, что к нам обращаются, не являются чем-то необычайным, чем-то выходящим за пределы порядка вещей, они - именно то, что все время происходит, что происходит беспрестанно, словесное обращение здесь ничего не прибавляет.

Все происходящее есть обращение ко мне. Тем, что случается со мной, происходящее в мире обращается ко мне. Только очищая его, отделяя его от обращения ко мне, я могу воспринимать случающееся со мной как часть мировых событий, не имеющих меня в виду. Внутренне связанная, стерилизованная система, в которую все должно войти, есть титанический продукт человеческой деятельности. Язык также подчинен ему.

С вершины этой башни времен, если некоторые из стражей ее ворот сочтут возможным уделить некоторое внимание подобным ходам мыслей, мне отвечают: это ведь просто разновидность древнего суеверия, будто космические и теллурические явления могут иметь доступное нашему пониманию непосредственное значение в жизни человека. Вместо того чтобы понять происходящее в физическом, биологическом, социологическом аспекте (что я, будучи всегда склонен к восхищению подлинными успехами исследований, очень ценю, если только те, кто их достигают, знают, что они делают, и не теряют из поля зрения границ, внутри которых они действуют), делается попытка постигнуть его мнимое значение, для которого в подчиненном законом разума пространственно-временном континууме нет места.

Таким образом, я неожиданно попал в компанию авгуров, странные разновидности которых, как известно, существуют в современном мире.

Но будь то гадание по внутренностям животных или по звездам, его знакам свойственно, что они стоят в справочнике, пусть и не написанном. И сколь бы тайно ни передавались эти сведения, каждый, кто их применяет, узнаёт, какой поворот в жизни означает тот или иной знак; и даже если столкновение нескольких различного рода знаков вызывает особенные трудности разъединений и комбинаций, "справиться" всегда можно. Общий признак такого рода занятий - повторяемость: одинаковость, раз и навсегда открытая, постоянная применяемость правил,

законов и заключений по аналогии. То, что называют суеверием, представляется мне скорее суезнанием. От суеверного страха перед тринадцатым числом прямой переход к обманчивым высям гнозиса; это даже не обезьянье подобие подлинной веры.

Действительная вера, если я могу назвать так способность представить себя и услышать сказанное, начинается там, где прекращается руководство правилами, где само это желание исчезает. То, что происходит со мной, говорит мне что-то, но что оно мне говорит, не может быть мне открыто каким-либо тайным знанием, ибо до сих пор это никогда еще не говорилось и оно не состоит из звуков, когда-либо произнесенных. Оно не может быть истолковано, так же как и переведено, не может быть объяснено мне или изложено мною, это вообще не есть "Что", оно брошено мне в мою жизнь, это не опыт, о котором можно вспомнить вне данной ситуации, оно всегда остается обращением в тот определенный момент, неотделимым от него, вопросом вопрошающего, желающим ответа.

(Вопрос. В этом и состоит вторая громадная противоположность между знаками истолкования и языком знаков, который здесь имеется в виду: он никогда не бывает сообщением сведений, разъяснением, успокоением.)

Вера находится в потоке однократности, которую пытается преодолеть знание. Работа человеческого духа, все построения аналогий, типологий необходимы, но бегством было бы обращаться к ним, когда тебе, мне задан вопрос вопрошающего. Только лишь в потоке опробывается и исполняется прожитая жизнь.

При всем почтении к континууму мира - в жизни мне ведома только конкретность мира, которая все время, каждую минуту предстает передо мной. Я могу расчленить ее на составные части, могу, сравнивая, отнести их к группам сходных феноменов, могу вывести их из более ранних, свести к более простым, и при всем том я не затрону мою конкретность мира, она не может быть расчленена, сравнима, сведена, и она пугающе взирает на меня в своей однократности. Так в балете Стравинского директор странствующего кукольного театра, желая показать ярмарочной публике, что Пьеро, который ее пугает, просто пучок соломы в одежде актера, рвет его на части и, дрожа от страха, падает, так как на крыше балагана сидит живой Петрушка и смеется над ним.

Подлинное наименование конкретности мира - доверенное мне, каждому человеку творение. В нем даны знаки обращения к нам.

Обращение

В молодые годы исключением в обычной жизни было для меня только "религиозное". Наступали часы, которые изымались из хода вещей, что-то проламывало твердую скорлупу повседневности. И тогда нарушалось привычное постоянство явлений.

Совершившееся уничтожало закон повседневности. "Религиозный опыт" был опытом Иного, не входившего в жизненную связь. Он мог начаться с чего-то привычного, с созерцания какого-то хорошо известного предмета, который внезапно становился таинственным и пугающим и в конце концов прозрачным, ведя в тьму тайны с ее сверкающими молниями. Но время могло быть разорвано и без всякого повода, - сначала разрушалось прочное строение мира, затем исчезала еще более прочная уверенность в себе, и то лишенное сущности существо, которым ты только что был, которое теперь тебе уже неведомо, передавалось полноте вещей. "Религиозное" изымало человека из его среды. По ту сторону оставалось привычное существование с его делами, здесь же господствовали отрешенность, просветление, восторг вне времени, вне следствий. Следовательно, собственное существование охватывало посюстороннее и потустороннее, и между ними не было иной связи, кроме действительного мгновения перехода.

Неправомерность такого деления стремящейся к смерти и вечности временной жизни, которая перед их лицом может исполниться, лишь исполнив свою временность, открылась мне благодаря повседневному событию, событию, которое судило меня, изрекло приговор

сомкнутыми устами и неподвижным взором, как любит выносить этот приговор привычный ход вещей.

Дело было только в том, что однажды днем после испытанного утром "религиозного" вдохновения я принимал у себя незнакомого молодого человека, не вкладывая в общение с ним всю душу. Я не был недостаточно любезен, я отнесся к нему не менее внимательно, чем к его сверстникам, которые обычно приходили ко мне в это время дня как к оракулу, который снисходит до разговора с ними, я был внимателен и открыт, но не потрудился догадаться о вопросах, которые он мне не задал. Об этих вопросах я узнал позже, вскоре после этого, от одного из его друзей - его самого уже не было в живых, - узнал об их сущностном содержании, узнал, что он пришел ко мне не случайно, а по велению судьбы, пришел именно ко мне, именно в этот час не ради болтовни, а за решением. Чего мы ждем, когда в отчаянии все-таки идем к какому-то человеку? Вероятно, его присутствия, которым нам будет сказано, что смысл все-таки есть.

С тех пор я отказался от такой "религиозности", которая есть лишь исключение, изымание, выход из повседневности, экстаз, - или она отказалась от меня. Теперь у меня есть только повседневность, из которой я никогда не выхожу. Тайна больше не открывается, она ушла или поселилась здесь, где все происходит так, как происходит. Я не знаю больше иной полноты, кроме полноты каждого смертного часа с его притязанием и ответственностью. Хотя я далек от того, чтобы соответствовать ей, но знаю, что я в притязаниях встречу с претензиями, а в моей ответственности мне разрешено отвечать, и я знаю, кто говорит и ждет ответа.

Я знаю не намного больше. Если это религия, то она есть просто все, простое пережитое все в его возможности диалога.

Здесь есть место и для ее высших образов. Когда ты молишься, ты не отдаляешься от своей жизни, а именно ее имеешь в виду, пусть даже только для того, чтобы отдать ее, так же и пребывая в неслыханном, покоряющем, когда к тебе взывают сверху, когда ты востребован, избран, восславлен, послан, ты всегда подразумеваешься твоей смертной жизнью, это мгновение не изъято из нее, оно примыкает к прошлому и кивает еще оставшейся жизни; ты не погружаешься в холодную полноту, ты желаем для связи.

Кто говорит?

С нами говорят знаками происходящей жизни.

Кто же говорит?

Бесполезно отвечать на это словом "Бог", если мы не сделаем это, начиная с того решающего часа личного существования, когда мы должны были забыть все, что, как мы полагали, нам было известно о Боге, не могли сохранить ничего узнанного, выученного, придуманного самими, даже обрывка знания, когда мы были погружены в ночь.

Когда же мы поднимаемся из нее к новой жизни и начинаем различать в ней знаки, что можем мы тогда знать о том, кто нам их дает? Только то, что мы когда-либо узнаем из самих знаков. Если мы называем того, кто говорит этим языком, Богом, то это всегда Бог мгновения, Бог данного мгновения.

Приведу не очень удачное сравнение, ибо правильного я не знаю.

Когда мы действительно воспринимаем стихотворение, мы знаем о поэте только то, что узнаем о нем из этого стихотворения, - никакие биографические факты не дадут воспринимающему чистого восприятия: Я, которое нам здесь важно, - субъект этого единственного стихотворения. Но если мы таким же образом прочтем другие стихи того же поэта, их субъекты, дополняя и подтверждая друг друга, соединятся в своем многообразии в единое полифоническое бытие личности.

Так из тех, кто дает нам знаки, кто говорит с нами в нашей жизни, из богов момента идентично возникает Господь голоса, Единый.

Наверху и внизу

Верх и низ связаны друг с другом. Слово того, кто хочет говорить с людьми и не говорит с Богом, не находит своего воплощения, а кто хочет говорить с Богом и не говорит с людьми, идет по ложному пути.

Рассказывают, что однажды вдохновенный Богом человек ушел из сферы творения в большую пустоту. Там он блуждал, пока не пришел к воротам тайны. Он постучал. Раздался голос:

"Чего ты здесь хочешь?" - "Я, - сказал он, - воздавал Тебе хвалу перед смертными, но они были глухи к моим речам. И вот я пришел к Тебе, чтобы Ты выслушал меня и ответил мне". - "Возвращайся, - крикнули изнутри, - здесь тебя некому слышать. Свой слух я погрузил в глухоту смертных".

Подлинное слово Божие направляет человека в область языка живущих, где голоса творений минуют друг друга в своих поисках и в этой неудаче находят вечного партнера.

Ответственность

Понятие ответственности надо вернуть из сферы этики, из свободно парящего в воздухе "долженствования", в сферу живой жизни. Подлинная ответственность есть лишь там, где есть действительная возможность ответа.

Ответа на что?

На то, что с человеком случается, что он видит, слышит, чувствует. Каждый конкретный час с его содержанием мира и судьбы, предоставленный человеку, служит внимающему языком. Внимающему; больше ему ничего не нужно, чтобы начать читать данные ему знаки. Именно поэтому нужен, как я уже сказал, весь аппарат нашей цивилизации, чтобы отвлечь внимание человека. Дело в том, что внимающий не "справился" бы, как обычно, в следующий момент с ситуацией, в которой он в этот момент оказался; ему пришлось бы заняться ею и войти в нее. И при этом ему не помогло бы то, что он всегда считал применимым: ни знание, ни техника, ни система, ни какая-либо программа, - ибо он имел бы дело с тем, что не входит в определенные границы, с самой конкретностью. В этом языке нет алфавита, каждый его звук есть новое творение и только как таковое может быть понято.

Следовательно, от внимающего ждут, что он воспримет происходящее творение. Оно происходит как речь, и не как раздражающаяся над головами, а как именно к нему обращенная, и если один человек спросил бы другого, слышал ли он ее тоже, и тот ответил бы утвердительно, то они говорили бы только о процессе постижения, а не о постигнутом.

Но звуки, из которых состоит речь, - я повторяю это, чтобы устранить еще возможное, пожалуй, недоразумение, будто я имею в виду нечто чрезвычайное и величественное, - суть события повседневности, личной жизни. В них к нам обращаются, будь они "крупные" или "мелкие", причем считающиеся крупными не дают нам больших знаков, чем остальные.

Однако тем, что мы их воспринимаем, мы еще не принимаем окончательного решения о своем поведении. Мы все еще можем обволакиваться молчанием - ответ, характерный для известного типа эпохи, - или уклоняться, обращаясь к привычке, хотя в обоих случаях мы получим рану, боль от которой не смягчит ни продуктивная деятельность, ни одурманивание. Но может случиться, что мы попытаемся ответить, начнем лепетать, ибо для ясной артикуляции нам обычно не хватает душевных сил, но этот лепет - достойная попытка; смысл и горло как будто едины в том, что должно быть сказано, но горло слишком испугано, чтобы ясно высказать уже определившийся смысл. Слова нашего ответа высказаны на том же непереваемом языке свершения и отказа от него, на котором к нам обращаются, причем свершение может принимать облик отказа, а отказ - облик свершения. То, что мы таким образом выражаем в словах, - это отношение к ситуации, к ситуации, с которой мы именно теперь столкнулись, которая нам не была известна и не могла быть известна, потому что подобной ей еще не было.

Мы с ней не справляемся, от этого пришлось отказаться, никогда нельзя справиться с глубоко понятой ситуацией, но мы преодолеваем ее, вводя ее в субстанцию жизни, которой мы

живем. Только так, в верности мгновению, мы узнаем жизнь, которая есть нечто другое, чем сумма мгновений. Мы отвечаем мгновению, но отвечаем и за него, мы несем ответственность за него. В наши руки отдан новый континуум мира, мы ответственны за него. Собака взглянула на тебя, ты отвечаешь за ее взгляд, ребенок взял тебя за руку, ты ответствен за его прикосновение к тебе, толпа людей движется вокруг тебя, ты ответствен за их бедствия.

Мораль и религия

Ответственность, которая не соответствует сказанному слову, - лишь метафора морали; ответственность фактически существует лишь в том случае, если есть инстанция, перед которой я ответствен, а "ответственность перед собой" реальна лишь в том случае, если "самость", перед которой я ответствен, будучи прозрачной, ведет в безусловное. Но тот, кто ощущает реальную ответственность, ответственность диалога, может не называть того, кто произносит слово, на которое он отвечает; он знает его в субстанции слова, которое, требуя, проникая в душу, принимая интонацию внутреннего чувства, волнует его до глубины души. Человек может всеми силами отвергать бытие Бога и ощущать его в строгой святости диалога.

Но не надо думать, что я ставлю под вопрос мораль, чтобы восхвалять религию. Правда, преимущество религии перед моралью состоит в том, что она феномен, а не постулат, а также в том, что кроме решимости она способна охватывать и спокойствие; действительность морали, требование Требующего входит в религию, но действительность религии, безусловное бытие того, кто требует, не входит в мораль. Если же религия испытывает удовлетворение и утверждает себя, она становится еще более сомнительной, чем мораль, именно потому, что она более действенна и обширна. Религия как риск, готовая сама отказаться от себя, - это питающая система артерий; как система, обладающая истиной, уверенная и предоставляющая уверенность, религия, верующая в религию, - венозная кровь, останавливающаяся в своем движении. И если нет ничего, что может нам так исказить лицо людей, как мораль, то религия может, как ничто другое, исказить нам лик Божий. В одном случае это - принцип, в другом - догмат; я способен ценить "объективную" твердость догмата, но за тем и другим скрывается - мирская или священная - война с диалогической властью ситуации, скрывается то раз и навсегда принятое, что противостоит непредвиденному мгновению. Догмат, даже там, где корни его притязания не вызывают сомнения, превратился в возвышенную форму невосприимчивости к откровению. Оно не терпит завершения, но человек с мастерством присущей ему иллюзорной уверенности доводит его до завершения.

ОГРАНИЧЕНИЕ

Сферы

Сферы диалогической и монологической жизни не совпадают со сферами диалога и монолога даже и в том случае, если иметь в виду те их формы, которые лишены звуков и жестов. Существуют не только большие сферы диалогической жизни, которые в своей явленности не составляют диалог, но существует и диалог, который не есть жизненно таковой, т. е., выступая в своем явлении как диалог, не обладает его сущностью. Порой кажется, что только такой и существует. Я знаю три вида диалога: подлинный, который может быть выражен как в словах, так и в молчании, - в этом диалоге каждый из его участников действительно имеет в виду другого или других в их наличном и своеобразном бытии и обращается к ним, стремясь, чтобы между ним и ими установилось живое взаимоотношение; технический, вызванный лишь необходимостью объективного взаимопонимания, и, наконец, замаскированный под диалог монолог, в котором два человека или несколько собравшихся людей странными извилистыми путями говорят с самими собой, полагая при этом, что они избавлены от мучительного

пробытия лишь с самими собой. Первый вид диалога стал, как было сказано, редким; там, где он встречается, пусть даже в самом "недуховном" облике, он свидетельствует о наличии органической субстанции человеческого духа. Второй вид составляет неотъемлемое свойство "современного существования", хотя в его различных уголках все еще иногда прячется подлинный диалог и подчас неподобающим образом, чаще свысока терпимый, чем прямо отталкиваемый, неожиданно и несвоевременно мелькая, скажем, в тоне проводника вагона, во взгляде старой продавщицы газет, в улыбке трубочиста. Что же касается третьего вида... Дискуссия, в которой кто-то выражает свои мысли не так, как он намеревался это сделать, а в более острой форме, чтобы они больше задевали, и выражает их, не видя в людях, с которыми говорит, личности; беседа, "в основе которой не лежит потребность что-либо сообщить, узнать, на кого-нибудь воздействовать, вступить с кем-нибудь в определенные отношения, а только желание утвердиться в своем тщеславии, прочтя на лице собеседника произведенное впечатление, или укрепить пошатнувшуюся уверенность в себе; дружеский разговор, в котором каждый считает себя абсолютной и законной величиной, а другого - относительной и сомнительной; беседа влюбленных, в которой каждая из сторон наслаждается величиной своей души и ее драгоценным переживанием, - что это за адское сборище безликих фантомов!

Жизнь в диалоге - не та, в которой много имеют дело с людьми, а та, в которой, имея дело с людьми, действительно с ними имеют дело. Монологической следует называть не жизнь одинокого человека, а жизнь того, кто неспособен воспринять общество, в которое он приведен судьбой, соответственно его сущности. Лишь одиночество показывает глубочайшую сущность этой противоположности. Живущему диалогически в привычном течении времени постоянно что-то говорят, и он чувствует необходимость ответить; даже в глубоком одиночестве странствуя в горах, он не теряет ощущения полного метаморфоз пребывания лицом к лицу с чем-то. Живущий монологически никогда не видит другое как нечто, чем он не является, но с чем он все-таки входит в коммуникацию. Одиночество может означать для него растущую полноту лиц, мыслей, но никогда не будет глубоким, обретенным в новой глубине общением с неуловимо действительным. Природа для него либо *etat d'ame*[2], следовательно, внутреннее "переживание", либо пассивный предмет познания, идеалистически одухотворенный или реалистически отдаленный; она не становится для него словом, воспринятым созерцающими или ощущающими чувствами.

Диалогическое существование обретает даже в крайнем одиночестве глубокое, придающее ему силы предчувствие взаимности; монологическое - даже в нежнейшем общении не выходит за пределы своей самости.

Это не следует смешивать с придуманной некоторыми моралистами противоположностью между эгоизмом и альтруизмом. Я знаю людей, которые с головой уходят в "общественную деятельность" и при этом неспособны говорить с другим человеком, ощущая его сущность; и знаю других, связанных лично лишь с врагами, но относящихся к ним так, что только от них зависит, что их отношения не принимают диалогического характера.

Диалогическое общение не следует отождествлять с любовью. Я не знаю никого, кому бы удалось во временном мире любить всех. Несомненно, что и Иисус тоже любил лишь податливых, достойных его любви "грешников", которые нарушали закон, а не тех, упорных, верных наследию отцов, которые грешили против него и его миссии; однако он относился к тем и другим с непосредственной открытостью. Любовь не следует отождествлять с диалогичностью. Но любовь без диалогичности, следовательно, без действительного движения навстречу другому (*Zum-Andern-ausgehen*), без обретения другого (*Zum-Andern-gelangen*) и пребывания у другого (*Beim-Andern-Verweilen*), пребывающая в себе любовь есть то, что называется Люцифером.

Конечно, для того чтобы идти навстречу другому, надо иметь отправную точку, быть у себя. Диалог между просто индивидами - только набросок, осуществляется же он только между личностями. Но что может столь сущностно превратить индивида в личность, если не строгий и светлый опыт диалога, который учит его безграничному содержанию границы?

Сказанное здесь совершенно противоположно подчас раздающемуся в сумерках эпох призыву ко всеобщей открытости. Тот, кто может быть открытым с каждым прохожим, не

обладает субстанцией, которая может быть утрачена. Но тот, кто не может быть непосредственным по отношению к каждому встречающемуся ему человеку, тщеславен в своем богатстве. Лютер напрасно перевел еврейское слово "товарищ" (уже в Септуагинте* названный "близким", "соседом") как "ближний". Если все конкретное одинаково близко, одинаково ближее, то жизнь и мир не имеют членения, построения, не имеют больше человеческого смысла. Но между мной и моим товарищем в товариществе творения, когда мы приближаемся друг к другу, не должно быть посредника, ибо мы принадлежим к одному средоточию.

Основные движения

Основным движением я называю сущностное действие человека (его можно понимать как "внутреннее", но его нет, если оно не пронизывает вплоть до напряжения глазных мышц и не ощущается даже в подошве ноги), которое служит основой сущностного поведения. Его не надо понимать во временном аспекте, будто однократное действие предшествует длительному поведению; истина такого поведения в том, что основное движение всегда совершается без определенного намерения, но и не по привычке. В противном случае оно имело бы лишь эстетическое или политическое значение, как красивая или действенная ложь. Известная максима, согласно которой сначала надо обрести манеру поведения, остальное приложится, не подтверждается, когда речь идет о сущностном действии и сущностном поведении, следовательно, когда речь идет о целостности личности.

Основное движение в диалоге - обращение. Это как будто нечто повседневное и незначительное; глядя на кого-нибудь, говоря с кем-нибудь, мы обращаемся, поворачиваемся к нему, естественно, физически, но по мере необходимости и душевно, уделяя ему внимание. Но что же из всего этого есть сущностное действие, что сделано с сущностью? То, следовательно, что из необозримости наличного выступает, одна эта личность и становится настоящим и тогда мир в нашем восприятии - уже не безразличное многообразие точек, одной из которых мы на мгновение уделяем внимание, а бесконечный напор волн на узкую, ясно очерченную, прочную плотину - этот напор бесконечен, но она сдерживает натиск волн и тем самым если и не охватывает их со всех сторон, то заставляет их ощутить некий предел, принять некий образ и освободиться от своего безразличия! И все-таки ни одно из ежеминутных соприкосновений нельзя считать недостойным быть воспринятым нашим существом настолько, насколько это возможно, - ведь нет человека, совершенно лишённого силы выражения, и наше обращение к нему вызовет пусть даже самый незаметный, быстро замирающий ответ пребывающей в самой глубине и все-таки существующей способности взглянуть, прислушаться. Представление современного человека, будто обращение сентиментально и не соответствует характеру сегодняшней жизни, - гротескное заблуждение, так же как утверждение, будто в суете нашей жизни обращение неосуществимо, есть лишь замаскированное признание в слабости своей инициативы перед лицом времени; современный человек позволяет своему времени диктовать ему, что возможно и допустимо, вместо того чтобы в качестве уверенного партнера прийти к соглашению по вопросу о том, что совместимо с условиями любого времени, а именно какое пространство и какую форму оно готово предоставить сотворенному существованию.

Основное монологическое движение есть не отклонение как противоположность обращения, а поворот назад.

Когда я в одиннадцатилетнем возрасте проводил лето в имении дедушки и бабушки, я часто прокрадывался, как только мне удавалось сделать это незаметно, в конюшню, чтобы погладить моего любимца, большого серого "в яблоках" коня. Это было для меня не поверхностным удовольствием, а большим, приятным и глубоко волнующим событием. Если теперь, исходя из сохранившегося ощущения в моей руке, дать ему толкование, то я должен сказать: лаская это животное, я испытывал Иное, огромную инакость Другого, которая, однако, не оставалась чуждой, как близость быка или барана, а позволяла мне подойти к ней, коснуться ее. Когда же я гладил мощную, иногда удивительно гладкую, а иногда столь же удивительно взъерошенную гриву и ощущал в прикосновении моей руки живую жизнь, мне казалось, что с

моей кожей граничит элемент самой жизненности, нечто, что было не я, совсем не я, совсем не привычное я, а ощутимо Другое, не просто нечто другое, а действительно само Другое; и оно все-таки допускало меня к себе, доверялось мне, просто общалось со мной, как Ты и Ты. Конь, еще до того как я начинал сыпать овес в ясли, мягко поднимал массивную голову, уши которой двигались, тихо фыркали, наподобие того, как заговорщик подает другому заговорщику лишь ему понятный сигнал, и я получал подтверждение своему чувству. Но однажды - не знаю, что пришло в голову мальчику, во всяком случае это было ребячеством - я, глядя коня, подумал о том, какое удовольствие мне это доставляет, и внезапно ощутил свою руку. Игра продолжалась как обычно, но что-то изменилось, было уже не то. И когда я на следующий день, обильно задав корма, погладил моему другу шею, он не поднял голову. Уже через несколько лет, вспоминая это происшествие, я больше не думал, что животное заметило мою измену, но тогда я ощутил это как приговор.

Поворот назад есть нечто другое, чем эгоизм или "эготизм". Он состоит не в том, что человек занимается собой, созерцает себя, ощупывает себя, наслаждается собой, почитает себя, оплакивает себя, - все это может добавляться, как и в обращение, совершенствуя его, может добавляться, что мы представляем себе другого в его особом существовании, охватываем его, так что в общей с ним ситуации узнаем о ней и с его стороны, но поворот назад состоит не в этом. О нем я говорю, когда человек отказывается заняться другой личностью в ее особенности, не вписываемой в круг его собственной личности, в особенности, субстанционально касающейся его души и волнующей ее, но ни в чем не имманентной ей, и видит в другом лишь собственное переживание, лишь нечто свое. Тогда диалог превращается в видимость, таинственное общение между миром одного и миром другого лишь разыгрывается и в отторжении рядом живущего действительно сущность всего действительно начинает разрушаться.

Бессловесная глубина

Мне приходится иногда слышать, что все разговоры о Я и Ты поверхностны, глубоко под ними уже нет ни слов, ни ответов, там только исконное бытие, которому ничего не противостоит, поэтому нам надлежит погрузиться в молчаливое единство, а в остальном предоставить живой жизни ее относительность и не обременять ее этим абсолютизированным Я и этим абсолютизированным Ты с их диалогом.

Я действительно знаю по собственному незабываемому опыту, что бывают состояния, когда узы личностного как бы спадают с нас и мы переживаем нераздельное единство. Но я не знаю - хотя душа охотно это предполагает и, вероятно, должна предполагать (а моя некогда верила в это), - достигал ли я этим единения с исконным бытием или с Божеством. Утверждать это - непозволительное превышение ответственного познания. Ответственно, т. е. как держащийся действительности человек, я могу сказать об этом переживании только то, что я ощутил в нем нераздельное, безобразное, не имеющее содержания единство самого себя. Я могу назвать это единство исконным, предшествующим моей биографии и предположить, что оно остается неизменным, скрываясь за всеми изменениями моей биографии, за всем развитием и всеми извилинами моей души; но честно и трезво отдавая себе отчет в ответственности своего познания, я должен признать, что это не что иное, как единство моей души, "основы" которой я достиг, достиг настолько глубоко под всеми формированиями и содержаниями, что мой дух не может не признать его исконной основой. Единство моей собственной души действительно обособилось от всего данного предшествующей жизнью многообразия, но совсем не от индивидуации, не от многообразия всех душ в мире, одной из которых она является, - этой одной единичной, единственной, не имеющей сходных, ни из чего не выводимой, - этой душой творения. Одна из человеческих душ, а не "вседуша". Особое бытие, а не бытие. Основное сотворенное единство творения, связанного с Богом, как создание, тварь в одно мгновение перед освобождением по отношению к creator spiritus[3], и не связанного с Богом, как создание, тварь по отношению к creator spiritus в мгновение освобождения.

Для чувства человека единство собственной самости неотделимо от единства вообще, ибо тот, кто в акте или в событии этого погружения погрузился ниже области всего действующего в душе множества, не может испытывать то, что множества больше нет, иначе, чем само единство, следовательно, собственное отсутствие многообразия - как отсутствие двоичности бытия, как открытое или осуществленное отсутствие двоичности. То, что я стал одним, я сам уже не могу понять по сю сторону индивидуации, даже по сю сторону двоичности Я и Ты, ибо для пограничного опыта души "одно (eins)", по-видимому, необходимым образом однозначно с единством (Eins).

Но в действительности проживаемой жизни человек в такое мгновение находится не выше, а ниже ситуации творения, которая могущественнее и истиннее, чем все восторги; он не выше, а ниже диалога. Он не ближе к скрытости Бога, возвышающейся над Я и Ты, и дальше от обращенности Бога, которая дается некоему Ты, отдающему себя Я, и Я, отдающему себя Ты, дальше, чем тот другой, кто в молитве, служении, жизни не выходит из "стояния лицом к лицу" и не ощущает бессловесного единства, разве что того, которое открывает телесная смерть.

Однако пережитое единство известно и живущему в диалоге. Это именно единство жизни, однажды воистину обретенное, которое никакими изменениями не может быть разорвано в тварной повседневности и в "обоженные" возвышенные минуты; единство неразрываемого, неуходящего пребывания в конкретности, в котором мы слышим слово и можем пролепетать ответ.

О мышлении

То, что искусство изначально в своей сущности диалогично, что музыка всегда взывает к слуху, не к собственному слуху музыканта, живопись - к зору, не к собственному зору живописца, архитектура - к тому, кто обходит здание кругом, и что все они говорят воспринимающему их нечто, высказываемое лишь на этом языке (не "чувство", а воспринятую тайну), открыто каждому непредвзятому пониманию. Но мысли, как кажется, присуще нечто монологичное, к ней сообщение приходит как нечто второе, вторичное; мысль как будто возникает монологически. Верно ли, что здесь (где, как утверждают философы, из конкретной личности освобождается чистый субъект, чтобы основать себе мир и исследовать его) возвышается поднявшаяся над диалогической жизнью недоступная ей башня, в которой с собой, одиночкой, славно одиноко страдает и торжествует человек?

Платон неоднократно называл мышление беззвучным разговором души с самой собой. Каждый, кто действительно мыслит, знает, что в этом удивительном процессе есть стадия, на которой задается вопрос некой "внутренней" инстанции и она отвечает. Но это не возникновение мысли, а первая проверка и испытание уже возникшей мысли. Возникновение мысли происходит не в монологе. Монологичного характера не имеют ни понимание основных условий, с которого начинается познающее мышление, ни постижение, ограничение и концентрация понимания, ни его внедрение в самостоятельную понятийную форму, ни соотносящее, вводящее и связывающее принятие этой формы в понятийный строй, ни, наконец, - так как до сих пор язык осуществлял лишь техническую и сохранную символическую функцию - даже выражение и истолкование в языке. Скорее здесь можно обнаружить диалогические элементы: не к себе обращается мыслитель на стадиях становления мысли, в ее ответственности, а к основному отношению, перед лицом которого он несет ответственность за свое понимание, или к порядку, перед которым он отвечает за новый сложившийся понятийный образ, и считать, что это обращение к натурально или идейно существующему есть "собственно" разговоры с собой, - значит не понимать динамики мыслительного процесса.

Но и первая проверка и испытание сложившейся мысли внутренней инстанцией, монологическая ступень в платоновском смысле, имеют кроме обычной и другую важную диалогизирующую, Платону хорошо известную форму явления: там суждение выносит не эмпирическая самость, а гений, со мной направленный дух, образ-самость, которому

докладывается новая мысль, чтобы узнать, одобряет ли он ее, т. е. хочет ли включить ее в собственное завершённое мышление.

И тогда из измерения, которое и это полномочие еще не удовлетворяет, появляется требование новых, чисто диалогических проверки и испытания, где решающая должность передается уже не Ты-Я, а подлинному Ты, которое либо остается предполагаемым и все-таки ощущаемым при этом в высшей степени живым и "другим", либо воплощается в другом лице. "Человек, - говорит Вильгельм Гумбольдт в своем известном исследовании "О двойственном числе" (1827), - стремится даже... в области чистой мысли к "Ты", соответствующему его "Я"; ему кажется, что понятие обретает определенность и точность, только отразившись от чужой мыслительной способности. Оно возникает, отрываясь от подвижной массы представлений, преобразуясь в объект, противопоставленный субъекту. Но объективность оказывается еще полнее, когда это расщепление происходит не в одном субъекте, но когда представляющий действительно видит мысль вне себя, что возможно только при наличии другого существа, представляющего и мыслящего подобно ему самому. Но между двумя способностями нет другого посредника, кроме языка"*.

Это указание, упрощенное в виде афоризма, повторяется в 1841 г. у Людвиг Фейербаха: "Подлинная диалектика не есть монолог одинокого мыслителя с самим собой, она - диалог между Я и Ты",

Однако это слово уводит за пределы такого "отражения"; оно заставляет предположить, что уже в исконной стадии правильного акта мышления внутреннее движение шло к подлинному, не только "внутреннему" (Новалис) Ты. И в современной философии, там, где она наисерьезнейшим образом хочет спрашивать, исходя из человеческой экзистенции, ситуации, современности сделан с некоторыми отклонениями важный дальнейший шаг. Речь уже идет не только о способном к восприятию и склонном к совместному философствованию Ты, а преимущественно о противостоящем и действительно Другом, по-другому и другое думающем, следовательно, не о сцене в башне заоблачного замка, а об обязывающем деле жизни на твердой земле, когда непреложно воспринимается инакость Другого, но с ней не ведется борьба как с существующим противником, ее структура вводится в собственное мышление, о ней мыслят и, мысля, ее высказывают.

Но этот человек современной философии, который мыслит уже не в недостижимой области чистых идей, а в действительности, мыслит ли он в самом деле в действительности, а не в вымышленной действительности? Не есть ли тот другой, которого он признает и принимает, просто вымышленный другой, следовательно, все-таки недействительный? Соответствует ли мыслитель, о котором идет речь, подлинному факту инакости?

Если мы серьезно утверждаем мышление между Я и Ты, то недостаточно мыслить другогаху субъекта мысли, надо жить, мысля, именно мысля, другого - не вымышленного, а существующего во плоти человека, его конкретность; не другого мыслителя, о котором не хотят ничего знать, кроме его мышления, но даже если этот другой и мыслитель, мыслить его не как мыслителя, а как личность, которой принадлежит и деятельность мышления.

Когда же процесс мышления станет выносить присутствие живущего рядом, включать его, иметь его в виду? Когда же диалектика мышления превратится в диалогичность? Станет лишенным сентиментальности, нераспадающимся, строгим мысленным диалогом с данным в настоящем человеком?

Эрос

Греки различали сильного, порождающего мир и легкого, властвующего над душами Эросов, а также Эросов небесного и низменного. Это разделение не представляется мне безусловным. Ибо изначальный бог, желание, от которого произведен мир, проникает в образе нежного призрачного духа Якоба Гримма в души и совершает здесь с демоническим произволом свое космогоническое дело посредством оплодотворения существ, он - великий, несущий цветочную пыльцу мотылек, психогений. И "Пандемосу", если предположить, что он

действительно Эрос, а не дерзко выдающий себя за того, кто выше его, Приап, достаточно лишь шевельнуть крыльями, чтобы в телесных играх вспыхнул исконный огонь.

Правда, об этом и идет речь: не утратил ли он силу полета и не проклят ли теперь обитать среди смертных, направляя скудные любовные жесты их смертности. Тогда души любящих людей будут, правда, оказывать друг на друга свое обычное действие, но бескрыло под властью бескрылого, ибо его сила и бессилие всегда проявляются в них, забились они там, где они есть, каждая в своем углу, вместо того чтобы взлететь к возлюбленной душе и "познать" ее в потустороннем, которое стало посюсторонним.

Верные диалогическому, сильному крыльями Эросу познают любимое существо. Они узнают его особенную жизнь в скромном настоящем не как увиденную и ощупанную вещь, а переходя от иннервации к ее движениям, от "внутри" к ее "снаружи". Но под этим имеется в виду не что иное, как биполярный опыт, нечто большее, чем мгновенное перепрыгивание, - спокойная одновременность. Ты чувствуешь, как там, в наклоне головы, присутствует душа, чувствуешь не на своей шее, а именно на той, другой, любимой, но ты не отстранен, ты здесь, в этом ощущении, и воспринимаешь наклон головы, посылаемое им уведомление как ответ на слово твоего молчания. Ты ведешь диалог и ощущаешь его в этой покоящейся одновременности. Каждый из двух людей, верных диалогу Эроса, любящих друг друга, ощущает общее событие и со стороны другого, следовательно, с обеих сторон, и только тогда они постигают это событие телесно. Царство бескрылого Эроса - мир зеркал и отражений. Но там, где властвует крылатый Эрос, отражения не действуют; там я, любящий, мыслю этого другого, любимого, человека в его ина-кости, в его самостоятельности и действительности и мыслю его всей силой моей души. Конечно, я мыслю его как того, кто присутствует обращенным ко мне, но в той же не входящей в меня, но охватывающей меня реальности, в которой я присутствую как направленный к нему. Я не переносюсь душой в то, что живет рядом со мной, я обещаю его себе, а себя ему, я обещаю, я верю.

Диалогический Эрос обладает простотой полноты; монологический многообразен. Я многие годы путешествовал по стране людей, но все еще так и не изучил до конца все разновидности эротиков (так называют себя иногда подвластные Эросу со сломанными крыльями). Вот влюбленный потерянно блуждает вокруг, а между тем он влюблен только в свою страсть. Вот кто-то носит в себе свои различные чувства, как ленты орденов. Вот наслаждается приключением, созданным его способностью очаровывать. Вот восторженно смотрит спектакль собственной мнимой готовности отдаться. Вот собирает возбуждения. Вот позволяет играть "власти". Вот пыжится жизненностью чужого. Вот испытывает удовольствие, ощущая себя одновременно самим собой и непохожим на себя идиолом. Вот греется в лучах случайно доставшегося ему. Вот экспериментирует. И так далее - все многообразно монологизирующие с зеркалами в комнате самого доверительного диалога!

Я говорил о маленьких окунях, но имею в виду еще в большей степени больших щук. Есть среди них такие, которые уверяют предмет, который собираются сожрать, что это их священное право, а претерпеть - блаженный долг другого лица, называемый героической любовью. Мне известны "вожди", которые своей хваткой не только вносят беспорядок в плазму становящегося человеческого существа, но и разлагают ее полностью, лишают ее пластичности, наслаждаются силой своего воздействия, но при этом внушают себе и окружающим, что они воспитывают юные души и вызывают к Эросу как к своему божественному защитнику, недоступному *profanum vulgus*[4].

Все они ловят пустоту. Лишь тот, кто имеет в виду действительно другого человека и отдается ему, обретает в нем мир. Лишь существо, чья инакость, принятая моим существом, живет рядом во всей своей экзистенции, приносит мне сияние вечности. Только если два человека всем своим существом говорят друг другу: "Это - ты!" - между ними пребывает сущее.

Общность

Согласно принятому, политизированному способу отношения ко всему существующему значение групп, как сегодня, так и в истории, состоит только в том, к чему они стремятся и чего достигают. Тому же, что в них происходит, внимание уделяется лишь постольку, поскольку оно оказывает влияние на целенаправленные действия группы. Товарищество внутри союза заговорщиков, направленного на захват государственной власти, одобряют, потому что оно усиливает мощь союза; впрочем, это достигается и беспрекословным послушанием, если вдохновенная муштровка возмещает чуждость членов союза друг другу; есть даже достаточно оснований предпочитать такую косную систему. Если же группа стремится к более высокой форме общественной жизни, зарождение чего-то подобного в самой жизни группы может вызвать опасение, что преждевременное, слишком серьезное отношение может ослабить "осуществляемый" порыв. По-видимому, бытует мнение, будто тот, кто пребывает в качестве гостя в оазисе, потерян для проекта орошения Сахары.

При таком упрощенном методе оценки подлинная значимость группы остается столь же непонятой, как если бы мы судили о человеке только по его действиям, а не по его свойствам. Превратность увеличивается, если начинаются разговоры о жертве своим существованием (Daseinsopfer), об отказе от собственной реализации, подчас с применением излюбленного сравнения с удобрением; можно отказаться от счастья, от имущества и власти, от жизни, но жертва существованием - сублимированная бессмыслица. Ни одно мгновение не может в своем отношении к действительности сослаться на какое-то более позднее, будущее время, ради которого, желая его улучшить, оно осталось столь ничтожным. "Судьбы будущих созвездий не оправдывают, что чего-то не было, все мгновения непосредственны в своей значимости".

Настроение общности царит не там, где люди вместе, но не в общности вырывают у противящегося этому мира вождя изменением устройства, а там, где борьба ведется общностью, борющейся за действительность своей общности. Одновременно здесь определяется и будущее; все политические "осуществления" - в лучшем случае вспомогательные звенья того действия, которое, изменяя ядро происходящего, реализует мгновение осуществления на необозримых путях тайной истории. Нет пути, который бы вел к цели иным способом, чем этот.

Кто же может догадаться, что среди всех этих массовых, толпящихся, марширующих коллективов представляет собой тот, к которому он, как ему кажется, стремится, что представляет собой общность! Каждый отдался во власть ее противника. Коллективность не есть связь, она - связанность: индивид рядом с индивидом, одинаково оснащенные, одинаково выравненные, между людьми лишь столько жизни, сколько нужно для оживления марша. Общность же, становящаяся общность (до сих пор нам известна лишь такая), есть не пребывание друг подле друга множества людей, а их бытие друг у друга; если даже они все вместе идут к одной цели, они повсюду ощущают движение друг к другу, динамическую направленность друг к другу, волны, идущие от Я к Ты. Общность есть там, где совершается общность. Коллективность основывается на органическом ослаблении личностного, общность - на его росте и подтверждении в стремлении друг к другу. Одержимость коллективностью данного времени - это бегство личности от попытки испробовать общность, посвятить себя общности, бегство от ищущей выражения самости жизненной диалогичности в сердце мира.

Члены коллектива взирают с превосходством на сентиментальность предшествующего поколения, на "движение молодежи". Тогда много и глубоко занимались проблематикой всех жизненных отношений, стремились к "общности" и одновременно ставили ее под вопрос, кружились вокруг этого и не двигались с места. Теперь же командуют и маршируют, ибо теперь существует "дело". Оставив блуждания в субъективности, люди вышли на целенаправленный путь объективизма. Однако, подобно тому как там была псевдосубъективность, ибо отсутствовала элементарная сила бытия личности, здесь в наличии псевдообъективность, так как человек входит не в мир, а в партии. Как там все гимны свободы уходило в пустоту, ибо люди стремились лишь к освобождению от уз, а не к освобождению для ответственности, так теперь даже самые благородные гимны во славу авторитета - просто недоразумение, потому что фактически они усиливают лишь выраженную в словах, в возгласах видимость авторитета; под маской уверенности, облаченной широкими складками важности, скрывается неуверенность;

подлинный же авторитет, о котором поется в тех гимнах, авторитет подлинного харизматического деятеля в его постоянной ответственности в качестве владыки харизмы, остался неведомым политической сфере современности. По внешним признакам оба поколения совершенно различны по своему характеру, даже противоположны, в действительности же они погружены в тот же хаос. Проблема-матизирующий участник молодежного движения занимался всегда, о чем бы ни шла речь, только своим участием в нем, он "переживал" свое Я, не привнося в него свою самость, чтобы не связывать себя необходимостью ответа или ответственности; действующему сотруднику коллективного предприятия до сих пор удавалось быть свободным, т. е. полностью уклоняться от вопроса о привнесении в решаемый вопрос своей самости. Нельзя отрицать известного успеха. Там монолог выступал как диалог, здесь все происходит гораздо проще - у большинства людей по их желанию монологичность изгоняют или устраняют привычку к ней, а другие, те, кто отдают приказы, не нуждаются в том, чтобы изображать диалогичность. Диалог и разговор с самим собой умолкают. Без Ты, но и без Я маршируют связанные друг с другом люди - слева те, кто хочет устранить память, справа те, кто хочет ее регулировать, - в разделенных враждой толпах, продвигаясь вместе к бездне.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Беседа с противником

Я надеюсь, что мои указания прочтут читатели двух типов. Amicus[5], знающий о действительности, на которую я хотел бы указать пальцем так, как это делает Иоанн Креститель у Грюневальда, и hostis[6] или adversarius[7], отрицающий эту действительность и поэтому выступающий против меня, поскольку я указываю на нее как на действительность, следовательно, ввожу в заблуждение. Он относится к сказанному здесь столь же серьезно, как я, после долгого ожидания пишущий то, что должно быть написано, - столь же серьезно, но с отрицательным знаком. Без того, кто не более чем inimicus[8], а таковым я считаю каждого, кто пытается перевести вопрос в идеологическую плоскость и заставить меня проявить там значимость своих воззрений, я бы охотно обошелся.

Amicus'у мне здесь незачем что-либо говорить. Бой часов общей смертности и общего пути одинаково звучит в его и в моих ушах, будто мы находимся в одном помещении и знаем друг друга.

Что же касается adversarius, то ему здесь недостаточно сказать, на что я ему указываю - на его скрытую личную жизнь, на его тайну и на то, что, перейдя тщательно избегаемый им порог, он откроет то, что отрицает. Этого недостаточно. Мне не следует уклоняться от ответа на его серьезное возражение, я должен принять его таким, каким и по какому поводу оно сделано, и ответить.

Так вот, adversarius сидит напротив меня в обычной, соответствующей духу времени форме своего проявления и говорит, скорее не обращая на меня внимания, чем обращаясь ко мне, в тоне и манере обычной безличностной универсальной дуэли: "Во всем этом не принимается в расчет фактическая сторона нашей современной жизни, да и условия жизни вообще. Все то, о чем Вы говорите, происходит в каком-то несуществующем мире, а не в социальной среде, в которой мы проводим свои дни и которой определяется наша реальность, если она вообще чем-нибудь определяется. Два человека, о которых Вы говорите, сидят на одной скамье, очевидно совершая путешествие в отпускное время; ведь в конторе большого города Вы бы не могли усадить их так; там это священное действие не могло бы состояться. Этот прерывистый разговор ведут интеллектуалы за несколько месяцев до потрясающих событий, фантазируя о способах предотвратить их духовным воздействием. Это может представлять известный интерес для людей, не имеющих определенных обязанностей. Но значит ли это, что сотрудник торговой фирмы должен открываться своим коллегам? Или рабочий, стоящий у

конвейера, ждать ответа от происходящего с ним? Или руководитель огромного технического предприятия проявлять чувство ответственности в диалоге? Требуя внимания к встретившейся человеку ситуации, Вы пренебрегаете постоянной ситуацией, в которой находится каждый из нас в той мере, в какой он участвует в жизни общества. А это при всех призывах к конкретности представляет собой лишь улучшенное издание предвоенного индивидуализма".

Я же, глубоко сознавая почти полную невозможность совместно мыслить, даже исходя из противоположных позиций, если отсутствует общее восприятие, отвечаю:

Прежде всего, любезный мой противник, для того чтобы мы говорили друг с другом, не параллельно друг другу, я прошу Вас принять во внимание, что я ничего не требую. Для этого у меня нет призвания и нет даже права. Я только пытаюсь сказать, что нечто существует, и указать на его свойства; я просто сообщаю. Да и как можно было бы вообще требовать диалога! Диалог никому не задают, ответ не обязанность, а возможность.

И он действительно возможен. Диалогичность - не преимущество духовности, как диалектичность. Она возникает не на вершине человечества, она начинается не выше, чем она начинается. Здесь нет одаренных и бездарных, а есть лишь готовые отдаться этому чувству и противодействующие ему. И тот, кто ощутит это завтра, сегодня этого никак не замечает, даже сам не знает, что оно в нем есть, что оно есть во всех нас, он обнаружит это, "а обнаружив, удивится".

Вы говорите мне о тех, кто имеют определенные обязанности и заняты на предприятиях. Вот их именно я и имею в виду, тех, кто заняты на фабрике, в магазине, в конторе, на шахтах, у парового котла, в наборном цехе, людей. Я не ищу определенных людей, не выискиваю людей, я беру тех, которые здесь, их я имею в виду - стоящего у конвейера, крутящего колесо, обусловленного своим занятием. Диалог - не проявление духовной роскоши и духовного процветания, он дело творения, сотворенного, а это - человек, о котором я говорю, человек, о котором говорим мы, творение, тривиальная незаменимость.

В моих указаниях на диалогичность я брал примеры такими "чистыми", такими парадигматическими, какими их предлагала мне память, чтобы ясно выразить ставшее столь далеким, столь забытым. Поэтому мои рассказы - относятся к той области, которую Вы называете духовной, в действительности же это - область удавшегося, завершившегося примера. Но мне важно не чистое. Мне важно смутное, сдерживаемое, медленное, глухая бессмыслица - мне важен прорыв. Мне важен прорыв, а не совершенство, причем прорыв не вследствие отчаяния с его убийственной и восстающей силой; нет, не о великом, катастрофическом, однократном прорыве (о нем подобает некоторое время молчать - даже в собственном сердце) идет речь, а о выходе из состояния душевной превратности, недовольства, в котором пребывает человек, наугад выхваченный из толпы в моих примерах, и вырваться из которого он может и иногда вырывается. Куда? Не в нечто возвышенное, героическое, священное, не в безусловное, а только в некоторую строгость и милосердие повседневности, где я соприкасаюсь именно с той действительностью, в сфере обязанностей которой я пребываю, соприкасаюсь взаимным взором, кивком - словом так, что ощущаю себя данным ей, а ее данной мне, себя говорящим ей, а ее говорящей мне, - и тогда среди шума рутины, называемой мною моей действительностью, передо мной внезапно предстает в своем величии действующая действительность, действительность живых существ, доверенная им, за которую они ответственны. Смысл мы находим не в вещах, мы не привносим его в них, но он может возникнуть между нами и ими.

Не следует, любезный мой противник, приписывать мне патетическое требование "Все или ничего!", а затем доказывать невозможность этого мнимого требования. Мне не известно, что такое все и что такое ничего, то и другое представляется мне одинаково нечеловеческим и вымышленным; я имею в виду лишь просто quantum satis[9] того, что человек способен выполнить и обрести в этот час своей жизни, - если он решится. Другими словами, если он не позволит внушить себе устоявшейся привычностью окружения, что существуют сферы, изъятые из творения, и что он работает в одной из таких сфер и может возвращаться к мысли о творении только после окончания рабочего дня; или что все это уже устарело и если когда-нибудь и было, то давно прошло, теперь же существует производство, работа, и надо выбросить из головы всякую романтику, сжать зубы и справляться с тем, что признано необходимым. Повторяю: если

человек не позволит себе это внушить! Нет фабрики и конторы, столь забытых творением, чтобы от одного рабочего места к другому, от одного рабочего стола к другому не мог перекинуться взор человека, трезвый и братский, служащий гарантией действительности происходящего творения: quantum satis. И нет ничего более способствующего диалогу между Богом и человеком, чем такой несентиментальный и неромантический обмен взглядами между людьми в чужом помещении.

Но разве это несомненно чужое помещение? Неужели впредь во все времена мира жизнь занятого на предприятии человека должна быть разделена на чужбину, область "труда", и родину, область "отдыха"? Должна ли быть его жизнь, - так как вечер и воскресенье не могут освободиться от характера трудового дня, а неизбежно несут на себе его печать, - разделена на предприятие труда и предприятие отдыха, без всяких следов непосредственности, нерегулируемого избытка - свободы? (Причем свобода, которую я имею в виду, не создается каким-либо новым общественным устройством.) Или, быть может, под всеми умиротворяемыми неудовольствиями уже приходит в движение нечто незнакомое и изначально глубокое, для которого еще нигде не найдена граница удовлетворения, но которая достигает такой мощи, что диктует техническим руководителям, предпринимателям и исследователям: рационализируйте, но гуманизируйте в себе рационализирующую рациональность, чтобы она включала в свои цели и расчеты живого человека, который ощущает необходимость противостоять миру. Зародилось ли уже в глубине - как импульс к великой подготовке последней революции или ее искорка - стремление, любезный мой противник, к диало-гизации предприятия? В формулировке quantum satis это значит: к такому упорядочению сферы труда, при которой предприятие будет настолько проникнуто диалогичностью жизни, насколько это допускают выполняемые им задачи. А в какой мере они это допускают, сегодня вряд ли даже можно предположить, - в час, когда решить поставленный мной вопрос предоставлено слепым к действительности фанатикам своевременности и слепым к возможностям провозвестникам неизбежной трагичности мира.

Подумайте, о чем свидетельствует то, что рабочий даже свое отношение к машине может ощущать как диалогическое, что печатник рассказывает, как он однажды уловил в гудении машины "веселую и благодарную улыбку, обращенную ко мне, которая выражала понимание, что я помог устранить препятствия, мешавшие ей, ранившие ее и причинявшие ей боль, и теперь она может легко двигаться". Не вспомните ли Вы в связи с этим историю об Андрокле и льве*?

Но там, где человек, сообщая неодушевленному предмету самостоятельность и как бы душу, вводит его в область своего желания и диалога, в нем должно возникнуть предчувствие диалога с миром, диалога с происходящим в мире, с близким ему в окружающей его вещной среде. Или Вы в самом деле думаете, что знаки и их восприятие останавливаются у порога предприятия, где есть действительно открытая душа? Разве может, спрашиваете Вы смеясь, руководитель большого технического предприятия проявлять диалогическую ответственность? Может. Он проявляет ее, если представляет себе руководимое им предприятие, насколько это возможно quantum satis, в его конкретности; если он видит в нем не совокупность центров механических сил и обслуживающих их организмов, которые дифференцируются для него лишь по своим функциям, а совокупность людей, име-ющих лица, имена и биографии, связанных определенным делом, сражающимся в действиях сложного механизма, но не состо-гщим в них; если он внутренне с помощью дисциплинированной»антазии представляет себе множество этих людей, - которых»н, конечно, не может знать и помнить, - то, если кто-нибудь из них по какому-либо поводу действительно окажется в качестве определенного индивида в поле его зрения или в сфере его решений, он воспримет его не как номер с маской человека, а без всякого усилия как личность, если он, по большей части вынужденно, косвенным образом - посредством различных систем коммуникаций (в зависимости от размеров, характера и структуры предприятия), а в организационно подчиненных ему отделах - и непосредственно воспринимает этих людей как личности и соответственно относится к ним. Само собой разумеется, что сначала его фантастическая деятельность будет объявлена обеими сторонами, капиталистами и пролетариатом, фантастичной, а его практика по отношению к рабочим предприятия дилетантизмом, но столь же само собой разумеется - лишь до тех пор, пока его технические достижения не, оправдают его в их глазах (этим, конечно, я не хочу сказать, что технические

достижения обязательно будут достигнуты: между истиной и успехом не существует предустановленной гармонии). Затем, правда, последует нечто худшее: ему начнут подражать из прагматических помыслов, т. е. применять его "методы" без его убеждений и его восприятия, но эта исконная демония истории духа (вспомните о проникновении магии в религию) будет побеждена способностью человеческих душ к различению. А тем временем придет, надо надеяться, новое, учащееся у жизни поколение и отнесется, как и он, серьезно к этому вопросу.

Нет сомнения в том, что зависимость человека от "условий" в нашу эпоху увеличивается. Растет не только абсолютная масса объективных социальных факторов, но и их относительная сила. Индивид, обусловленный ими, ежеминутно стоит перед конкретностью мира, которая хочет предложить себя ему и получить от него ответ; обремененный ситуацией, он предстает перед новыми ситуациями. И все-таки при всем росте многообразия и переплетенности он остался Адамом: в нем все еще реально зреет решение, будет ли он следовать раздающимся в вещах и событиях словам Бога или не станет внимать им. И взгляд творения, направленный на другое творение, может иногда служить достаточным ответом.

Социальная обусловленность человека растет. Но этот рост есть созревание задачи - не в должностовании, а в возможности и потребности, в стремлении и милосердии. Надо отказаться от пантехнической жажды или привычки "справляться" с любой ситуацией; все, от тривиальных мистерий повседневности до величия разрушающей судьбы, надо подчинить диалогической власти подлинной жизни. Но задача становится все труднее, выполнение ее встречает все больше препятствий, и решения ее становятся все многочисленнее. Весь упорядоченный хаос эпохи ждет прорыва, и там, где человек слышит и отвечает, он приближает такой прорыв.

СНОСКИ

[1] Посвящается П.

Бездна и свет миров,

Страдание во времени и жажда вечности,

Видение, событие и поэма:

Были и есть разговор с тобой

[2] Состояние души (фр.). - Примеч. пер

[3] Творящим духом (лат.). - Примеч. пер.

[4] Непосвященной толпе (лат.). - Примеч. пер.

[5] Друг (лат.). - Примеч. пер.

[6] Враг (лат.). - Примеч. пер.

[7] Противник (лат.). - Примеч. пер.

[8] Неприятель, враг (лат.). - Примеч. пер.

[9] Сколько потребуется (лат.). - Примеч. пер.